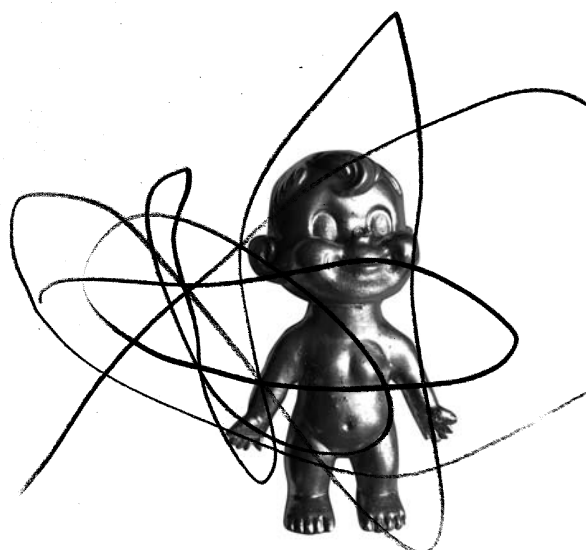


*Действующие лица и события в книге выдуманы автором.
Любое сходство с живыми либо умершими людьми
является чисто случайным.*



КНИГА
ПЕРВАЯ

Просторная юбка

Не скрою: я пациент специального лечебного учреждения, мой санитар следит за мной, он почти не спускает с меня глаз, ибо в двери есть смотровое отверстие, а глаз моего санитара — он того карего цвета, который не способен видеть насквозь голубоглазого меня.

И следовательно, мой санитар никак не может быть моим врагом. Я даже полюбил его, этого соглядатая за дверью, и, едва он переступает порог моей комнаты, рассказываю ему всякие эпизоды из своей жизни, чтобы он узнал меня поближе, несмотря на помеху в виде смотрового глазка. Добряк, судя по всему, ценит мои рассказы, ибо стоит мне сочинить для него очередную побасенку, как он, желая выразить свою признательность, демонстрирует мне очередной, новейший образец своего рукоделия. Оставим в стороне вопрос, можно назвать его художником или нет, хотя не исключено, что выставка его творений стяжала бы одобрительные отклики в прессе и даже привлекла бы несколько покупателей. Он вывязывает из обыкновенной бечевки, которую подбирает и затем распутывает в палатах у своих пациентов, когда тех покинут посетители, многоузловых чудищ, затем обмакивает их в гипс, дает высохнуть и накалывает на вязальные спицы, укрепленные на деревянных брусочках.

Порой он носит с мыслью делать свои творения цветными, но я его отговариваю. Я указываю на мою крытую белым лаком металлическую кровать и прошу его мысленно представить себе это совершенство в размалеванном виде. Тогда он в ужасе всплескивает над головой своими

санитарскими руками, пытается одновременно выразить на своем несколько неподвижном лице все мыслимые формы ужаса и отрекается от своих многоцветных планов. Итак, моя казенная, металлическая, крытая белым лаком кровать служит образцом. Для меня она даже нечто большее: моя кровать — это наконец-то достигнутая цель, мое утешение, она могла бы стать моей верой, дозволю начальство моего заведения предпринять некоторые усовершенствования: я бы сделал повыше решетку кровати, чтоб никто не подходил ко мне слишком близко.

Один раз в неделю день посещений разрывает мою переплетенную белыми металлическими прутьями тишину. Тогда приходят они, те, кто желает меня спасти, те, кому доставляет удовольствие любить меня, те, кто ценит, уважает и хотел бы поближе узнать во мне самих себя. До чего ж они слепы, неврастеничны, невоспитанны. Они царапают маникюрными ножницами по белому лаку моей решетки, они рисуют ручками и синим карандашом продолговатых непристойных человечков. Мой адвокат, взрывая комнату громогласным «Привет!», всякий раз напяливает свою нейлоновую шляпу на левый столбик в изножье кровати. И ровно на столько, сколько продолжается его визит, — а адвокаты могут говорить долго, — он подобным актом насилия лишает меня равновесия и бодрости духа.

После того как посетители разложили свои гостинцы на белой, крытой клеенкой тумбочке под акварелью с анемонами, после того как им удалось поведать мне о своих текущих либо планируемых идеях по спасению и убедить меня, кого они без усталости рвутся спасать, в высоком уровне своей любви к ближнему, их снова начинает тешить собственное бытие, и они прощаются со мной. Затем приходит санитар — проветрить и собрать бечевку от пакетов с гостинцами. Нередко у него еще остается время, чтобы, присев после этого на мою кровать и распутывая бечевку, распространять вокруг себя тишину до тех пор, пока

я не начинаю называть тишину именем Бруно, а Бруно — тишиной.

Бруно Мюнстерберг — я имею в виду своего санитаря — на мои деньги купил мне пятьсот листов писчей бумаги. Бруно, неженатый, бездетный и родом из Зауэрланда, готов, если запасов не хватит, снова наведаться в маленькую лавчонку писчебумажных товаров, где торгуют также и детскими игрушками, дабы обеспечить меня необходимой, нелинованной площадью для моей, будем надеяться, надежной памяти. Никоим образом не мог бы я попросить об этой услуге своих визитеров, скажем адвоката или Клеппа. Хлопотливая, прописанная мне любовь наверняка не позволила бы моим друзьям приносить с собой нечто столь опасное, как бывает опасна чистая бумага, и предоставлять ее в распоряжение моему непрерывно извергающему слова духу.

Когда я сказал Бруно: «Ах, Бруно, не купишь ли ты мне пятьсот листов невинной бумаги?» — тот возвел глаза к потолку и, воздев в том же направлении указательный палец, что невольно устремляло мысли к небесам, ответил: «Вы подразумеваете белую бумагу, господин Оскар?»

Я остался при своем словечке «невинная» и попросил Бруно употребить в лавочке именно его. Вернувшись ближе к вечеру с пачкой, он предстал передо мной как Бруно, обураваемый мыслями. Многократно и подолгу задерживал он взгляд на потолке, откуда черпал все свои откровения, и немного спустя высказался: «Вы порекомендовали мне должное слово. Я попросил у них невинной бумаги, и продавщица сперва залилась краской и лишь потом выполнила мою просьбу».

Опасаясь затяжной беседы о продавщицах писчебумажных лавок, я раскаялся, что назвал бумагу невинной, а потому молчал, дожидаясь, когда Бруно выйдет из комнаты, и лишь после этого вскрыл упаковку, содержащую пятьсот листов бумаги.

Я не стал слишком долго держать и взвешивать на руке упругую, неподатливую пачку. Я отсчитал десять листов, запрятал в тумбочку остальные, авторучку я обнаружил в ящике рядом с альбомом фотографий; ручка заправлена, недостатка в чернилах быть не должно, как же мне начать?

При желании рассказ можно начать с середины и, от-важно двигаясь вперед либо назад, сбивать всех с толку. Можно работать под модерниста, отвергнуть все времена и расстояния, дабы потом возвестить самому или передоверить это другим, что наконец-то только что удалось разрешить проблему пространства и времени. Еще можно в первых же строках заявить, что в наши дни вообще нельзя написать роман, после чего, так сказать, у себя же за спиной сотворить лихой триллер, чтобы в результате предстать перед миром как единственно мыслимый сегодня романист. Я выслушивал также слова о том, что это звучит хорошо, что это звучит скромно, когда ты для начала заявляешь: нет больше романских героев, потому что нет больше индивидуальностей, потому что индивидуальность безвозвратно утрачена, потому что человек одинок, каждый человек равно одинок, не имеет права на индивидуальное одиночество и входит в безымянную и лишенную героизма одинокую толпу. Так оно, пожалуй, и есть и имеет свой резон. Но что касается меня, Оскара, и моего санитаря Бруно, я бы хотел заявить: мы с ним оба герои, герои совершенно различные, он — за смотровым глазком, я — перед глазком; и даже когда он открывает мою дверь, мы оба, при всей нашей дружбе и одиночестве, отнюдь не превращаемся в безымянную, лишенную героизма толпу.

Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным терпением, чтобы, перед тем как наметить вехи собственного бытия, не упомянуть, на худой конец, хоть половину своих дедов и бабок. Позвольте же мне всем вам, мои друзья и мои еженедельные посетители, принужденным вести

запутанную жизнь за стенами моего специализированного лечебного учреждения, всем вам, даже и не подозревающим о моих запасах писчей бумаги, представить бабку Оскара с материнской стороны.

Моя бабка Анна Бронски сидела на исходе октябрьского дня в своих юбках на краю картофельного поля. До обеда можно было наблюдать, как бабка умело сгребает вялую ботву в аккуратные бурты, к обеду она съела подслащенный сиропом кусок хлеба с жиром, затем последний раз промотыжила поле и, наконец, осела в своих юбках между двух почти доверху наполненных корзин. Рядом с подметками ее сапог, что стояли торчком, устремясь носками друг к другу, тлел костерок из ботвы, порой астматически оживая и старательно рассылая дым понизу над едва заметным уклоном земной коры. Год на дворе был девяносто девятый, а сидела бабка в самом сердце Кашубской земли, неподалеку от Биссау, до еще того ближе к кирпичному заводу перед Рамкау, за Фиреком, где шоссе между Диршау и Картхаусом вело на Brentau; сидела спиной к черному лесу Гольдкруг и обугленной на конце ореховой хворостинной заталкивала картофелины под горячую золу.

Если я только что с особым нажимом помянул юбки моей бабушки, если я, будем надеяться, вполне отчетливо сказал: «Она сидела в своих юбках», да и главу назвал «Просторная юбка», значит, мне известно, чем я обязан этой части одежды. Бабка моя носила не одну юбку, а целых четыре, одну поверх другой. Причем она не то чтобы носила одну верхнюю и три нижних юбки, нет, она носила четыре так называемых верхних, каждая юбка несла на себе следующую, сама же бабка носила юбки по определенной системе, согласно которой их последовательность изо дня в день менялась. То, что вчера помещалось на самом верху, сегодня занимало место непосредственно под этим верхом, вторая юбка оказывалась третьей, то, что вчера было третьей юбкой, сегодня прилегало непосредственно к телу,

а юбка, вчера самая близкая к телу, сегодня выставляла на свет свой узор, вернее, отсутствие такового: все юбки моей бабушки Анны Бронски предпочитали один и тот же картофельный цвет — не иначе этот цвет был ей к лицу.

Помимо такого отношения к цвету юбки моей бабушки отличал непомерный расход ткани. Они с размахом круглились, они топорщились, когда задувал ветер, сникали, когда ветер отступал, трепетали, когда он уносился прочь, и все четыре летели перед моей бабкой, когда ветер дул ей в спину. А усевшись, она группировала все четыре вокруг себя.

Помимо четырех постоянно раздутых, обвисших, падающих складками либо пустых, стоящих колом возле ее кровати, бабка имела еще и пятую юбку. Эта пятая решительно ничем не отличалась от прочих четырех картофельного цвета. К тому же пятой юбкой не всегда была одна и та же пятая юбка. Подобно своим собратьям — ибо юбки наделены мужским характером, — она тоже подвергалась замене, входила в число четырех надеванных и, подобно всем остальным, когда наставал ее черед, то есть каждую пятую пятницу, шла напрямиком в корыто, по субботам висела на веревке за кухонным окном, а потом ложилась на гладильную доску.

Когда моя бабка после такой приборочно-пирогово-стирально-гладильной субботы, после дойки и кормления коровы целиком погружалась в лохань, сообщала что-то мыльному раствору, потом давала воде снова опасть, чтобы в цветастой простыне сесть на край постели, перед ней на полу пластались четыре надеванные юбки и одна свежестырированная. Бабка подпирала указательным пальцем правой руки нижнее веко правого глаза, ничьих советов не слушала, даже своего брата Винцента и то нет, а потому быстро принимала решение. Стоя босиком, она пальцами ноги отталкивала в сторону ту юбку, которая больше других утратила блеск набивной картофельной краски,

а освободившееся таким образом место занимала свежестыранная.

Во славу Иисуса, о котором у бабки были вполне четкие представления, воскресным утром для похода в церковь в Рамкау бабка обновляла измененную последовательность юбок. А где же бабка носила стираную юбку? Она была женщина не только опрятная, она была женщина тщеславная, а потому и выставляла лучшую юбку напоказ, да еще по солнышку, да при хорошей погоде!

Но у костерка, где пеклась картошка, бабка моя сидела после обеда в понедельник. Воскресная юбка в понедельник стала ей на один слой ближе, а та, что в воскресенье согревалась теплом ее кожи, в понедельник с самым понедельникным видом тускло облекала ее бедра. Бабка насвистывала, не имея в виду какую-нибудь песню, и одновременно выгребала из золы ореховой хворостиной первую испекшуюся картофелину. Картофелину бабка положила подальше, возле тлеющей ботвы, чтобы ветер мог овеять и остудить ее. Затем острый сук наколол подгорелый, с лопнувшей корочкой клубень и поднес его ко рту, и рот теперь перестал свистеть, а вместо того начал сдувать золу и землю с зажатой между пересохшими, треснувшими губами кожурой, при этом бабушка прикрыла глаза. Потом же, решив, что сдула сколько надо, она открыла сперва один, потом другой глаз, куснула хотя и редкими, но в остальном безупречными резцами, снова раздвинула зубы, держа половинку слишком горячей картофелины, мучнистой и курящейся паром, в распахнутом рту и глядя округленными глазами вверх раздутых, выдыхающих дым и окружающий воздух ноздрей на поле до близкого горизонта с рассекающими его телеграфными столбами и на верхнюю треть трубы кирпичного завода.

Между телеграфных столбов что-то двигалось. Бабушка закрыла рот, поджала губы, прищурила глаза и пожевала картофелину. Что-то двигалось между телеграфных столбов.

Что-то там прыгало. Трое мужчин скакали между телеграфных столбов, трое летели к трубе, потом обежали ее спереди, а один, с виду короткий и широкий, повернул, разбежался по новой и перемахнул через штабеля кирпичей, а двое других, тощие и длинные, не без труда, но тоже перемахнули через кирпичи и опять припустили между столбов, а широкий и короткий петлял, как заяц, и явно спешил больше, чем тощие и длинные, чем те прыгуны, а тем двум пришлось снова броситься к трубе, потому что короткий уже перемахнул через нее, когда те на расстоянии в два прыжка от него еще только разбегались и вдруг исчезли, махнув рукой, — так это все выглядело со стороны, да и короткий на середине прыжка рухнул с трубы за горизонт.

Там они все и остались, сделали перерыв, или, может быть, переоделись, или начали ровнять свежие кирпичи, получая за это жалованье.

Когда же моя бабка, решив воспользоваться перерывом, хотела наколоть вторую картофелину, она промахнулась. Потому как тот, что вроде был широкий и короткий, перелез в том же обличье через горизонт, будто через обычный забор, будто оставив обоих преследователей по ту сторону забора, между кирпичей, либо на шоссе на Брентау, но все равно он очень спешил, хотел обогнать телеграфные столбы, совершал длинные, замедленные прыжки через поле, так что от его ног во все стороны разлетались комья грязи, а сам он выпрыгивал прочь из этой грязи, и как размашисто он прыгал, так же упорно лез он и по глине. Иногда он, казалось, прилипает ногами, потом зависает в воздухе ровно настолько, чтобы хватило времени ему, короткому и широкому, утереть лоб, прежде чем снова упереться опорной ногой в то свежевспаханное поле, которое всеми своими бороздами вместе с пятью моргенами под картофель сбегало в овраг.

И он добрался до оврага, короткий и широкий, но едва исчез в нем, как оба других, тощие и длинные, которые,

вероятно, успели тем временем заглянуть на кирпичный завод, тоже перевалили через линию горизонта и начали оба, тощие и длинные, но не сказать чтобы худые, вязнуть в глине, из-за чего бабка моя опять не смогла наколоть картофелину, потому что не каждый день можно увидеть, как трое взрослых людей, хоть и разного роста, скачут между телеграфных столбов, чуть не обламывают трубу на кирпичном заводе и потом друг за дружкой, сперва короткий и широкий, потом тощие и длинные, но все трое с одинаковым трудом, упорно, таща все больше глины на подметках, скачут во всем параде по полю, вспаханному два дня назад Винцентом, и исчезают в овраге.

Итак, все трое исчезли, и моя бабка могла наконец перевести дух и наколоть почти остывшую картофелину. Она небрежно сдула с кожуры землю и золу, целиком засунула картофелину в рот, подумала, если, конечно, вообще о чем-нибудь думала: они не иначе как с кирпичного, — и начала двигать челюстями, когда один выскочил из овражка, над черными усами дико сверкнули глаза, сделал два прыжка — до костра, возник сразу и перед, и сзади, и рядом с костром, выругался, задрожал от страха, не знал, куда бежать, — назад нельзя, потому что сзади надвигались из овражка тощие и длинные, — и рухнул на колени, и глаза его чуть не выскочили из орбит, и пот выступил на лбу. Задыхаясь, с дрожащими усами, он позволил себе подползти поближе, доползти до самых ее подметок, почти вплотную подполз он к бабке, поглядел на нее, словно маленький и широкий зверь, так что бабка вздохнула, перестала жевать, опустила подметки на землю, не думала больше ни о заводе, ни о кирпичах, ни об обжигальщиках, ни о закладчиках, а просто-напросто подняла юбку, нет, подняла сразу все четыре, подняла достаточно высоко, чтобы тот, который был вовсе не с кирпичного, короткий, но широкий, мог юркнуть под них, под все четыре, и он скрылся вместе со своими усами, и не походил больше на зверя,

и был не из Рамкау и не из Фирека, а был заодно со своим страхом под юбками, и больше не падал на колени, и стал не коротким и не широким, и, однако же, занял свое место, забыл про дрожь, и про пыхтение, и про руку на колене, и стало тихо, как в первый день, а может, как в день последний, слабый ветерок лепетал в тлеющей ботве, телеграфные столбы беззвучно рассчитывались на первый-второй, трубы кирпичного завода вернулись в исходное положение, она же, моя бабушка, благоразумно разгладила первую юбку поверх второй, почти не чувствовала его под четвертой юбкой и вместе со своей третьей юбкой никак не могла взять в толк, что там совершается нового и удивительного для ее кожи. И поскольку это было удивительно, хотя поверху все лежало вполне благопристойно, а во-вторых и в-третьих, нельзя было взять в толк, она выгребла из золы две-три картофелины, достала из корзины, что под правым локтем, четыре сырых, по очереди сунула каждую сырую бульбу в горячую золу, присыпала сверху еще больше золы, поворошила, отчего костер вновь начал чадить, — а что ей еще оставалось делать?

Но едва юбки моей бабушки успокоились, едва густой чад тлеющей ботвы, сбитый с толку сильным падением на колени, переменной места и помешиванием, снова желтизной заволок поле и, сообразуясь с направлением ветра, пополз на юго-запад, как из оврага выплонуло обоих тощих и длинных, которые гнались за коротким и широким, обитающим ныне под ее юбками, и тут выяснилось, что они худые, длинные и по долгу службы носят мундиры полевой жандармерии.

Они чуть не промчались мимо бабки. Никак один из них перемахнул через костерок? Но вдруг они спохватились, что на них форменные сапоги, а стало быть, есть чем думать, притормозили, повернулись, затопали сапогами — оказались при сапогах и мундирах в дыму, кашляя, спасли мундиры из дыма, увлекая дым за собой, не перестали

кашлять, заговорили с моей бабкой и поинтересовались, не видела ли она Коляйчека, потому что она непременно должна была его видеть, раз она сидит здесь у оврага, а Коляйчек как раз ушел по оврагу.

Бабка моя Коляйчека не видела, потому что никакого Коляйчека не знала. Она спросила, не с кирпичного ли он, часом, завода, потому что никого, кроме тамошних, она не знает. Мундиры описали ей Коляйчека как человека, который не имеет к кирпичному никакого отношения, а из себя короткий и широкий. Бабка вспомнила, что вроде бы видела, как бежал один такой, и, определяя направление побега, указала дымящейся картофелиной на остром суку в направлении Биссау, которое, если верить картофелине, лежало, считая от завода, между шестым и седьмым столбами. Но был ли этот бегун Коляйчек, моя бабка не знала, она извинилась за свою неосведомленность, сославшись на огонь, что тлел перед подошвами ее сапог: у нее-де и без того хватает с ним хлопот, он горит еле-еле, вот почему ее не занимают люди, которые пробегают мимо либо стоят и глотают дым, а уж тем паче ее не занимают люди, которых она не знает, ей известны лишь те, кто из Биссау, Рамкау, Фирека или с кирпичного, с нее и довольно.

Сказав эти слова, бабка вздохнула, слегка, но достаточно громко, так что мундиры любопытствовали, с чего это она так развздохалась. Она кивком указала на свой костерок, очевидно, в том смысле, что вздыхает она из-за слабого огня да малость из-за людей в дыму, потом откусила своими редкими резцами половину картофелины, всецело отдавшись жеванию, а глаза закатила вверх и налево.

Мундиры полевой жандармерии решительно не могли истолковать отсутствующий взгляд бабки, не знали, стоит ли поискать за телеграфными столбами в направлении Биссау, и поэтому время от времени тыкали своими карабинами в соседние, еще не занявшиеся кучи

ботвы. Потом, следуя внезапному побуждению, разом опрокинули обе полные корзины, что стояли под локтями у бабки, и никак не могли уразуметь, почему из плетенок покатались им под ноги сплошь картофелины, а никакой не Коляйчек. Исполненные недоверия, они обошли картофельные бурты, словно Коляйчек мог за такое короткое время укрыться соломкой на зиму, они кололи уже с умыслом, но так и не дождались крика проколотого. Их подозрения устремлялись даже на самый чахлый кустарник, на каждую мышиную норку, на целую колонию кротовых холмиков и — снова и снова — на мою бабушку, которая сидела, словно приросши к месту, испускала вздохи, закатывала глаза, но так, чтобы белок оставался виден, перечисляла имена всех кашубских святых, но слабо тлеющий костерок и две опрокинутые корзины навряд ли могли объяснить слишком скорбные и слишком громкие вздохи.

Мундиры простояли около бабки с полчаса, не меньше. Порой они стояли поодаль, порой ближе к огню, прикидывали на глаз расстояние до трубы кирпичного завода, намеревались прихватить и Биссау, но отсрочили атаку, подержали над огнем лиловые руки, пока не получили от моей бабки, которая все так же непрерывно вздыхала, каждый по лопнувшей картофелине на палочке. Но в процессе пережевывания мундиры вспомнили, что носят мундиры, отбежали на расстояние брошенного камня через поле, вдоль стеблей дрока по краю оврага, спугнули зайца, который тоже не был Коляйчком. У костра они снова обнаружили мучнистые, исходящие горячим паром бульбы, а потому из миролюбия и слегка утомясь приняли решение снова покидать картошку в корзины, опрокинуть которые сочли ранее своим долгом.

Лишь когда вечер выдавил из октябрьского неба тонкий, косой дождь и чернильные сумерки, они торопливо и без всякой охоты совершили атаку на темнеющий

вдали межевой камень, но после этого броска отказались от дальнейших попыток. Еще недолго переминались с ноги на ногу, благословляющим жестом подержали руки над полузалитым, во все стороны чадящим костерком, еще закашлялись от зеленого дыма, залились слезой от дыма желтого, потом с кашлем и слезами сапоги двинулись в сторону Биссау... Раз Коляйчека здесь нет, значит, Коляйчек в Биссау. Полевые жандармы всегда допускают лишь две возможности.

Дым от медленно умирающего огня окутал мою бабушку наподобие пятой юбки, до того просторной, что бабушка в своих четырех юбках, со вздохами и с именами всех святых на устах, тоже оказалась под юбкой, словно Коляйчек. Лишь когда мундиры обратились в подпрыгивающие точки, медленно уходящие в вечер между телеграфными столбами, бабушка поднялась, да с таким трудом, словно успела за это время пустить корни, а теперь, увлекая за собой корешки и комья земли, прерывает едва начавшийся процесс роста.

Коляйчеку стало холодно, когда внезапно он оказался без крыши, под дождем, широкий и короткий. Он поспешно застегнул штаны, которые страх и безграничная потребность в укрытии повелели ему держать под юбкой в расстегнутом виде. Опасаясь слишком быстрого охлаждения своего прибора, он торопливо пробежал пальцами по пуговицам, ибо в такую погоду легче легкого подцепить осеннюю простуду.

Бабушка моя обнаружила под золой еще четыре горячие картофелины. Три из них она дала Коляйчеку, одну — самой себе и, прежде чем надкусить свою, еще спросила, не с кирпичного ли он завода, хотя уже могла бы понять, что Коляйчек взялся не с кирпичного, а из другого места. Потом она, не обращая внимания на его ответ, взвалила на него корзинку, что полегче, сама согнулась под той, что тяжелее, одна рука у нее осталась свободной для граблей

и для мотыги, и в своих четырех юбках, помахивая корзиной, картошкой, граблями и мотыгой, двинулась по направлению Биссау-Аббау.

Собственно, это было не само Биссау. Это было скорее в направлении Рамкау. Кирпичный завод они оставили по левую руку, двигаясь к черному лесу, где располагался Гольдкруг, а за ним уже шло Брентау. Но перед лесом в ложбине как раз и лежало Биссау-Аббау. Вот туда и последовал за моей бабушкой короткий и широкий Йозеф Коляйчек, который уже не мог расстаться с четырьмя юбками.

Под плотами

Отнюдь не так просто, лежа здесь, на промытой мылом металлической кровати специального лечебного заведения, под прицелом стеклянного глазка, оснащенного взглядом Бруно, воспроизвести полосы дыма над горящей кашубской ботвой да пунктирную сетку октябрьского дождя. Не будь у меня моего барабана, который, при умелом и терпеливом обращении, вспомнит из второстепенных деталей все необходимое для того, чтобы отразить на бумаге главное, и не располагай я санкцией заведения на то, чтобы от трех до четырех часов ежедневно предоставлять слово моей жестианке, я был бы несчастный человек без документально удостоверенных деда и бабушки.

Во всяком случае барабан мой говорит следующее: в тот октябрьский день года девяносто девятого, покуда дядюшка Крюгер в Южной Африке с помощью щетки взбивал свои кустистые англофобские брови, между Диршау и Картхаусом, неподалеку от кирпичного завода в Биссау, под четырьмя одноцветными юбками в чаду, страхах, стогах, под косым дождем и громким поминанием всех святых, под скудоумные расспросы и затуманенные дымом взоры двух полевых жандармов короткий, но широкий Йозеф Коляйчек зачал мою мать Агнес.

Анна Бронски, моя бабушка, успела еще под черным покровом той же ночи переменить имя: она позволила стараниями щедро расточающего святые дары патера переименовать себя в Анну Коляйчек и последовала за своим Йозефом хоть и не совсем в Египет, но все же в центральный город провинции, что на реке Моттлау, где Йозеф нашел работу плотогона, а вдобавок — правда, на время — укрылся от жандармов.

Лишь с тем, чтобы несколько усилить напряжение, я покамест не называю город в устье Моттлау — хотя он вполне заслуживает упоминания по меньшей мере как то место, где родилась моя матушка. Под конец июля в году нольноль — тогда как раз было принято решение удвоить кайзеровскую программу по строительству военного флота — моя матушка под знаком Льва явилась на свет. Вера в себя и мечтательность, великодушие и тщеславие. Первый дом, именуемый также *Domus vitae**, асцендент: впечатлительные Рыбы. Конstellляция такая: Солнце в оппозиции к Нептуну, седьмой дом, или *Somus matrimonii uxoris*** , сулит осложнения. Венера в оппозиции к Сатурну, который, насколько известно, вызывает заболевания печени и селезенки, именуется «кислой» планетой, властвует в Козероге и празднует поражение во Льве, который потчует Нептуна угрями, а взамен получает крота, который любит красавку, лук и свеклу, изрыгает лаву и подбавляет кислоты в вино; совместно с Венерой он обитал в восьмом доме, доме смерти, навевал мысли о беде, в то время как зачатие на картофельном поле сулило дерзновеннейшее счастье под покровительством Меркурия в доме родственников.

Здесь я не могу не вставить протест матушки, которая во все времена решительно отрицала, что была зачата на картофельном поле. Правда, ее отец — это она не могла

* Дом жизни (*лат.*).

** Дом семейный/супружеский (*лат.*).

не признать — уже там предпринял первые попытки, но само его положение, равно как и поза Анны Бронски, были слишком неудачно выбраны, чтобы создать Коляйчеку необходимые условия для оплодотворения.

— Думаю, это случилось в ночь бегства или на возу у дяди Винцента, а то и вовсе на Троиле, когда мы нашли у сплавщиков прибежище и кров. — Такими речами матушка обычно датировала свое зачатие, и бабушка, кому, казалось бы, следует это лучше знать, кротко кивала и общала миру:

— Само собой, донюшка, твоя правда, не иначе на возу это было, а то и вовсе на Троиле, только уж никак не на поле, тогда и ветер дул, и дождь лил как из ведра.

Винцентом звали брата моей бабки. Рано овдовев, он совершил паломничество в Ченстохову, и Матка Боска Ченстоховска повелела ему признать ее будущей королевой Польши.

С той поры Винцент только и делал, что рылся в диковинных книгах, отыскивал в каждой фразе подтверждение прав Богоматери на польский престол, а сестре перевернул все хлопоты по двору и полю. Сын Винцента Ян, в то время четырех лет от роду, хилый, плаксивый мальчишка, пас гусей, собирал пестрые картинки и — на удивление рано — почтовые марки.

Вот на этот самый двор, благословенный небесной королевой Польши, бабка доставила корзины с картофелем, а заодно — и Коляйчека, таким образом, Винцент тоже узнал, что произошло, а узнав, помчался в Рамкау и там принялся барабанить в дверь к патеру, дабы тот, вооружась святыми дарами, вышел и обручил девицу Анну с Йозефом. Не успел еще заспанный служитель Бога преподать свое благословение, чрезмерно затянувшееся из-за неудержимой зевоты, и, вознагражденный хорошим шматом сала, обратить к публике свою священную спину, как Винцент запряг свою кобылу, разместил новобрачных на соломе

и пустых мешках, усадил озябшего и хнычущего Яна возле себя на козлы, после чего сказал лошади, чтобы та ехала, никуда не сворачивая, прямо, в ночь: новобрачные торопились.

Среди все еще темной, но уже изрядно поистраченной ночи наши ездоки достигли лесоторгового порта, что лежал в главном городе провинции. Дружки, которые, подобно Коляйчеку, сплавливали плоты, приняли парочку беглецов. Винцент мог повернуть и гнать свою конягу назад в Биссау; корова, коза, свинья с поросятами, восемь гусей и дворовая собака ждали, когда им зададут корм, а сын Ян ждал, когда его уложат в постель, потому что у него была небольшая температура.

Йозеф Коляйчек скрывался три недели, приучил свои волосы к другой прическе, с пробором, сбрил усы, обзавелся безупречными бумагами и получил работу как плотогон Йозеф Вранка. Но зачем понадобилось Коляйчеку предъявлять лесоторговцам и хозяевам лесопилок документы на имя сброшенного — о чем власти не были проинформированы — во время драки с плотом и утонувшего в Буге пониже Модлина Йозефа Вранки? А затем, что Коляйчек, некоторое время назад покинувший сплавное дело, работал на лесопильне под Швецем и там повздорил с мастером из-за вызывающе размалеванного в бело-красный цвет его, Коляйчека, рукой забора. И чтобы некоторым образом придать убедительность своим забористым ругательствам, хозяин выломил из забора две планки, одну красную, другую белую, измочалил сугубо польские планки о кашубскую хребтину Коляйчека, отчего возникло такое количество щепок для растопки, что избитый счел себя совершенно вправе в следующую же, скажем так, яснозвездную ночь пустить красного петуха на свежевстроенную и чисто выбеленную лесопильню, во славу хоть и разделенной, но именно из-за раздела единой Польши.

Итак, Коляйчек был поджигатель, поджигатель-рецидивист, ибо в последовавший затем период лесопильни и дровяные склады по всей Западной Пруссии служили отличной растопкой для двухцветья национальных чувств. И, как всякий раз, когда речь идет о будущем Польши, Дева Мария была и во время этих пожаров на стороне поляков, есть даже очевидцы, причем некоторые, возможно, живы и по сей день, своими глазами видевшие увенчанную короной Богоматерь на горящих стропилах многих лесопилен. А толпа, которая всегда собирается при больших пожарах, якобы запевала хорал во славу Богородицы, Матери Божией, — отсюда нетрудно предположить, что на Коляйчевых пожарах царила торжественная обстановка и приносились клятвы.

И сколь отягощен прошлым был разыскиваемый поджигатель Коляйчек, столь беспорочен, бесприютен, безобиден, слегка ограничен, никем на свете не разыскиваем, почти никому не известен был плотовщик Йозеф Вранка, регулярно деливший свой жевательный табак на ежедневные порции, куда река Буг не приняла его в свои воды, а три дневные пайки табака остались у него в куртке вместе с документами. Поскольку утонувший Вранка никак не мог объявиться вновь и никто не задавал заковыристых вопросов по поводу его исчезновения, Коляйчек, имевший примерно ту же стать и такой же круглоголовый, как и утопленник, залез поначалу в его куртку, потом в его официально-документальную с незапятнанным прошлым шкуру, отучился курить трубку, перешел на жевательный табак, позаимствовал даже сугубо личные черты Вранки, дефекты произношения к примеру, и все последующие годы изображал надежного, бережливого, малость заикающегося плотогона, который пускал вплавь по воде целые леса с берегов Немана, Бобра, Буга и Вислы. Остается лишь добавить, что этот Вранка у лейб-гусар кронпринца, возглавляемых Маккензеном, дослужился до ефрейтора,

поскольку настоящий Вранка на службе еще не был, тогда как Коляйчек, четырьмя годами старше, чем утонувший, уже успел очень плохо проявить себя у артиллеристов под Торном.

Наиболее опасная часть всех грабителей, убийц и поджигателей, еще не перестав грабить, убивать и поджигать, ждет, когда подвернется возможность заняться делом более почтенным. И многим выпадает шанс — иногда отысканный, иногда случайный: Коляйчек, став Вранкой, стал одновременно хорошим и настолько исцеленным от своего огневого порока супругом, что его приводил в дрожь даже вид обычной спички. Спичечные коробки, свободно и безмятежно лежавшие на кухонном столике, никогда не были застрахованы от его посягательств, хотя, казалось бы, именно он способен изобрести спички. Подобное искушение он выбрасывал в окно. Бабке приходилось очень стараться, чтобы вовремя подать на стол теплый обед. Порой семья и вовсе сидела в потемках, потому что керосиновая лампа осталась без огня.

И однако Вранка вовсе не был тираном. По воскресеньям он водил свою Анну в Нижний город и при этом позволял ей, обрученной с ним также и официально, надевать, как тогда, на картофельном поле, четыре юбки, одну поверх другой. Зимой, когда реки затягивались льдом и для плотогонов наступали тощие времена, он исправно сидел в Троице, где жили лишь плотогоны, грузчики да рабочие с верфи, и присматривал за своей дочкой Агнес, которая явно уродилась в отца, потому что если и не залезала под кровать, то уж, верно, забиралась в платяной шкаф, а когда приходили гости, забивалась под стол, и вместе с ней ее тряпичные куклы.

Итак, девочка Агнес любила укрываться от глаз и в этом укрытии чувствовала себя столь же надежно, как и Йозеф, хоть и находила там иные радости, нежели те, которые нашел он под юбками у Анны. Поджигатель

Коляйчек был достаточно опытен, чтобы понять тягу своей дочери к укрытиям, и поэтому на заменяющем балкон выступе, которым завершалась их полутораконатная квартира, он, когда мастерил закут для кроликов, пристроил к нему еще и конурку как раз по ее росту. В этой пристройке матушка моя ребенком сидела, играла в куклы и тем временем подрастала. Позднее, уже школьницей, она, по рассказам, забросила своих кукол и, забавляясь стеклянными бусинами и пестрыми шариками, впервые проявила тягу к хрупкой красоте.

Надеюсь, мне, горящему желанием поскорее обозначить истоки собственного бытия, будет дозволено снять наблюдение с семейства Вранка, чей супружеский плот спокойно скользит по течению, вплоть до тринадцатого года, когда под Шихау сошел со стапелей «Колумб», ибо именно в тринадцатом полиция, которая никогда ничего не забывает, напала на след лже-Вранки.

Началось с того, что Коляйчек, как на исходе каждого лета, так и в августе тысяча девятьсот тринадцатого, должен был перегонять большой плот из Киева по Припяти, через канал по Бугу до Модлина, а уж оттуда вниз по Висле. Дюжина плотогонов вышла на буксире «Радауна», который дымил по велению их лесопильни, от Западного Нойфера на Мертвую Вислу до Айнлаге. Потом вверх по Висле мимо Кеземарка, Лецкау, Чаткау, Диршау и Пикеля и вечером пристала к берегу в Торне. Там на борт поднялся новый хозяин, который должен был в Киеве проследить за покупкой древесины. Когда «Радауна» в четыре утра отчалила, стало известно, что на борту хозяин. Коляйчек впервые увидел его за завтраком на баке. Они сидели как раз друг против друга, жевали и прихлебывали ячменный кофе, Коляйчек сразу его узнал. Кряжистый, уже облысевший человек велел подать водки и разлить ее по пустым кофейным чашкам. Не переставая жевать, когда в конце бака еще разливали водку, он представился:

— Чтоб вы знали: я новый хозяин, звать меня Дюкерхоф, и я требую от всех порядка!

По требованию хозяина плотогоны в той последовательности, в какой сидели за столом, называли себя и опрокидывали свои чашки, так что кадыки подпрыгивали. Коляйчек же сперва опрокинул, потом сказал: «Вранка», пристально глядя на Дюкерхофа. Тот кивнул, как кивал и предыдущим, и повторил: «Вранка», как повторял и имена других сплавщиков. И все же Коляйчеку почудилось, будто Дюкерхоф выделил имя утонувшего плотогона не то чтобы резко, скорее задумчиво.

Искусно уклоняясь от песчаных отмелей при помощи сменяющих друг друга лоцманов, «Радауна» одолевала мутноглинистую струю, знающую лишь одно направление. По левую и правую руку за валами лежала одна и та же плоская либо чуть всхолмленная земля, с которой уже собрали урожай. Живые изгороди, овраги, котловина, поросшая дроздом, равнина между хуторами, прямо созданная для кавалерийских атак, для заходящей слева на ящике с песком уланской дивизии, для летящих через изгородь гусар, для мечтаний молодых ротмистров, для битвы, которая уже состоялась и повторится вновь и вновь, и для полотна: татары, припавшие к луке, драгуны, выпрямься, рыцаримеченосцы, падая на скаку, орденские магистры в цветных плащах, на кирасе целы все застежки, кроме одной-единственной, которую отсек герцог Мазовецкий, и кони, кони — ни в одном цирке не сыщешь таких арабских скакунов, — нервные, под великолепными темляками, все жилки натянуты, как по линеечке, ноздри раздуты, карминовые, из них облачка, пронзаемые копьями, на копьях перевязь, пики опущены и делят небо, вечернюю зарю, еще сабли, а там, на заднем плане — ибо у каждой картины есть свой задний план, — прочно прильнув к горизонту, мирно курится деревенька между задними ногами вороного, приземистые хатки, обросшие мхом, крытые

соломой, а в хатках — танки, красивые, законсервированные, в ожидании грядущих дней, когда им тоже позволят возникнуть на этом полотне, на этой равнине, за дамбами Вислы, подобно легконогим жеребьятам среди тяжелой кавалерии.

У Влоцлавека Дюкерхоф ткнул Коляйчека пальцем: «А скажите-ка, Вранка, вы, часом, сколько-то лет назад не работали в Швеце на лесопильне? Она еще тогда сгорела, лесопильня-то».

Коляйчек упрямо, словно преодолевая сопротивление, покачал головой, и ему удалось придать своим глазам усталое и печальное выражение, так что Дюкерхоф, на которого упал этот взгляд, воздержался от дальнейших расспросов.

Когда под Модлином, там, где Буг впадает в Вислу и «Радауна» поворачивает, Коляйчек, перегнувшись через релинг, трижды сплюнул, как это принято у всех плотовщиков, рядом возник Дюкерхоф с сигарой и попросил у него огня. Это словечко, как и «спички», пронзило Коляйчека. «С чего это вы краснеете, когда я прошу огня? Девушка вы, что ли?»

Они успели оставить Модлин далеко позади, когда с лица у Коляйчека наконец сошла краска, которая была вовсе не краска стыда, а запоздалый отблеск подожженных им лесопилок.

Между Модлином и Киевом, короче — вверх по Бугу, через канал, соединяющий Буг с Припятью, покуда «Радауна», следуя по Припяти, вышла в Днепр, не произошло ничего, что можно бы счесть переговорами между Коляйчеком-Вранкой и Дюкерхофом. Само собой, на буксире между плотогонами, между кочегарами и плотогонами, между штурманом, кочегарами и капитаном, между капитаном и вечно меняющимися лоцманами что-нибудь да происходило, как следует быть, а может, как и бывает между мужчинами. Я мог бы вообразить нелады между кашубскими плотовщиками и штурманом, уроженцем Штеттина, возможно даже зачатки бунта: общий сбор